

Георгий ПРЯХИН

ГРАНИТ И МРАМОР

Когда ругают тот или иной строй – слава Богу, это происходит регулярно и попеременно – обвиняя его помимо всего прочего и в том, что он, дескать, душит всё живое, талантливое, во мне всегда возникает некий внутренний протест. Мне кажется, большой художник, писатель живёт и работает вне строя.

Он вообще всегда в одном строю – из одного-единственного человека.

Из самого себя.

Вот я думаю: а был бы «Дон Кихот» ещё лучше, если бы Сервантес писал его не в разгар инквизиции?

Ходит такой литературный анекдот.

Михаил Булгаков и Фёдор Гладков, вроде бы, жили по соседству, и балконы их торчали встык один к другому. Иногда они оказывались на этих балконах в одно и то же время. Гладков выходил, энергично потирая натруженные руки, а тут же, по соседству, курит Булгаков.

– Над чем трудимся? – спрашивает интеллигентно Михаил Афанасьевич.

– «Энергия!» – гудел Фёдор Васильевич. – А Вы, Михаил Афанасьевич?

– Да так, – потуплялся Булгаков. – Кропаем...

Булгаков «кропал» «Мастера»...

А ведь обстановка, обстановочка была самая что ни на есть нетворческая: культ личности в разгуле.

Взаимоотношение, взаимосвязь, если она вообще есть, у художественного творчества и того или иного общественного строя ещё сложнее, чем взаимоотношение, взаимосвязь, если она тоже есть – даже в том случае, когда художник сам по себе формально является человеком власти – у большого художника, большого писателя и власти.

Перечитайте последние страницы романа «Кровь и пот», увенчанного, казалось бы, всеми советскими почестями. Вспомните, хотя бы на фотографии, в лицо его автора. Ему пошел восемьдесят шестой год. Мне кажется, в этом возрасте, где-то в этом, люди и становятся самими собой. Сползает, истает, снашивается всё наносное, имиджевое, приметы времени – сгорая в огне этого самого времени – вроде орденских планок, и из обременительных недр бытия выпрастывается наш истинный человеческий облик. Ни манерности, ни угодливости, ни мании величия, что тоже является одной из разновидностей жеманства.

Вне игры.

Жаль, большинство из нас не доживают до этого часа истины.

В минуты горьких откровений, с глазу на глаз, Абдижамил Нурпеисов иногда жалеет, что дожил.

В прошлом году он потерял одну дочь, в этом году вторую.

У него красивое лицо престарелого интеллектуала, на котором собственно интеллектуальных черт даже больше, чем национальных. У него светлые, цвета



слезы, глаза старого-старого волка, которого время со всех сторон обложило красными флажками, по простоте душевной – если, конечно, даже у бездушных времен случаются душевные проблески – считая, что он только и мечтает о том, как бы вырваться вон. На свободу.

С его всеведущими глазами никак ни вяжется густая, ещё не проседевшая, не проспавшая окончательно шевелюра.

Вне игры, вне времени – мне кажется, таким лицам и таким людям, независимо от их земных профессий, и суждено потом представлять где-то т-а-а-м свое текущее время.

Но мне нравится, когда посреди серьезного разговора он вдруг вскидывает на меня очень относительно азиатские глаза и лукаво спрашивает:

– Но ведь мы с тобой, Георгий, деловые люди?..

В относительно азиатских запрыгают те самые мелкие, хвостатенькие, что вообще не ведают национальности, поскольку совершенно интернациональны.

Чтобы подсмеяться надо мною, он присовокупляет ко мне и себя. Это мне нравится в нём больше всего: умный смеется над другими, мудрый – над самим собой. Умный говорит то, что думает, мудрый – то, что от него хотят услышать.

Хотя по степени деловитости мы с ним и впрямь соотносимы: в каменный век входим без палат каменных.

Что касается текста, я вам напомним один его кусок. В концовке «Крови и пота».

«Только к вечеру преодолели солдаты перевалы Каска-Жол и Кара-Тамак. Многие так и остались по ту сторону перевалов, весь путь был усеян трупами людей. Танирберген еле волочил ноги. Высокие каблуки этих проклятых сапог, за которые он щедро вознаграждал когда-то сапожника, мешали теперь ему идти. Серый чапан из верблюжьей шерсти, всё время сползавший с плеч, он давно уже сбросил, оставшись в одном бешмете. Он брел, думая об одном только – как бы не упасть. Вспомнив про генерала Чернова, по привычке посмотрел вперед. Но и впереди теперь брели одни серые признаки, нельзя было уже разобрать, кто из них офицер и кто солдат. Оружие все давно бросили, одежду тоже. Многие стянули с себя и белье и брели нагишом. Сквозь выгоревшие лохматые волосы на грязных заросших лицах безумно горели запавшие глаза. “О Господи!” – хотел сказать Танирберген и не услышал своего голоса. Надсадный хрип вырвался из его пересохшего горла. Он зашатался и, чтобы обрести равновесие, остановился, расставив ноги. Взглянув вверх, он увидел огромную стаю стервятников, которые слетелись сюда со всей пустыни. А над стервятниками, над всем миром, возвышалось чистое небо. Танирберген стоял, покачиваясь, и бессмысленно смотрел на высокие белесые облачка – остатки вчерашних туч. Потом лицо его дрогнуло и прояснилось. Он увидел в этом небе, он понял что-то совсем новое для себя. Зачем судить мелких, завистливых людишек на земле? Как же им не грызться и не пожирать друг друга? Ты взгляни только на это небо! Ведь и там нет покоя. Тучи и ветер с сотворения мира бьются в бесконечной схватке. На небе всходит луна. День и ночь в вечном борении сменяют друг друга. И когда окончен день и заходит уморенное солнце, скажи, какой человек не предаётся унынию и печали, кому не кажется, что вместе с солнцем погасла и его надежда? Но где-то в глубине души всякий знает, что с закатом солнца жизнь не кончается, что вслед за мраком наступит свет, и что радость и горе всю жизнь неразлучно идут бок о бок, что суетная никчемная жизнь на земле будет повторяться вечно. А-а?.. Веришь ли ты в это? Веришь?.. Мурза запрокинул голову, держась на трясущихся ногах, и расхохотался. Ха-ха-ха-а!.. О глупый, скажи, повторится ли она для... для тебя? Верят ли в неё вот эти отверженные? Не знаю, не знаю, а вон те стервятники, пожалуй, верят».

Михаил Шолохов писал «Тихий Дон» на рубеже 1920-х и 1930-х. Роман «Кровь и пот» писался на рубеже 1960-х и 1970-х, тоже не в самое открытое, не в самое «подходящее» время. Но абстрагируйтесь на миг от текста во имя подтекста. О какой армии идет здесь речь, о белой или о красной? И так ли уж важно, представители какой нации, расы бредут в измождении по Приаралью, как почти уже по небу, – из смерти в смерть?

Это бредет Человек, уже почти что воспаряя над жизнью.

Есть добротные литературные вещи, жизнь которых ограничена, что само по себе не так уж плохо: когда родился, тогда и пригодился. Но встречаются и такие, к каким можно возвращаться вновь и вновь, как отдельным читателям, так и целым поколениям читателей. И эти вещи могут быть созвучны и новым временам, и новым, трудным обретаемым истинам и ценностям. Если человеку есть что сказать, и если Господь наделил его даром владения словом, он выскажется всегда, независимо от погоды на дворе.

Сколько тщательно и громогласно запечатанных сосудов плыло по реке времен, похваляясь вынужденным своим молчанием, а на поверку оказавшись пустыми. Бесталанность, посредственность рядится в разные одежды – она то оглядывается на власть, то прикрывается ею.

А вчитайтесь в сам слог, в слова. Этот мерный, эпический, почти античный строй: он тоже, плотью своею облекая героев, уходит вместе с ними – в даль. Это, без сомнения, классические строки, классическая проза.

И тут уместно вспомнить о переводчике. Юрий Казаков, чудесный русский писатель, один из самых тонких и признанных наших стилистов. Мастер компактных форм, но в данном случае ему, вместе с автором, хватило дыхания на громадную вещь. Казаков рано ушел из жизни. И мне опять же нравится, как Нурпеисов несет благодарную память о нём, хотя, судя по всему, искрило между ними не раз: о характере одного знаю не понаслышке, о характере другого слышан разного. Но сплав, композит вышел чудодейственный. У больших русских писателей, особенно в трудные времена, переводы их собратьев из былых национальных республик всегда были и заметным приварком, и убежищем в гонениях, и более того – миссией. Именно через русский язык национальная литература входила и входит в мировую литературу: именно через русский «Кровь и пот» появился и на многих других языках мира. Переведя в свое время «Кровь и пот», Юрий Казаков эту русскую миссию продлил, выполнил сполна, встав в один ряд с самим Борисом Пастернаком. Казакову повезло: далеко не все «первоисточники» обладают такой длительной памятью. Переводчика давно нет, а его роль в рождении русскоязычной версии романа, ставшего явлением не только казахской, но и всей советской литературы, Нурпеисов подчеркивает с завидным постоянством и даже рвением. Недавно на свои деньги издал великолепный сборник Казакова «Ночь» и написал к нему послесловие, грустное и раздумчивое. Эссе о трудной и плодотворной мужской дружбе, что всё-таки бывает, оказывается, даже надежнее женской любви.

За последние годы, по-моему, это едва ли не единственное казаковское издание.

И всё-таки сегодня читатель держит в руках не переиздание, а новую редакцию знаменитого романа. Авторскую. Больше полугодика назад я ездил к Нурпеисову и сам видел, как старый писатель работал над новой версией, вновь и вновь взвешивая на слух, как на ладони, каждое слово. В один из этих трех дней мы просидели с ним за его письменным столом с восьми утра до двух ночи. Иногда он косился в мою сторону и вздыхал:

– Эх, Юра, Юра – как же мне тебя не хватает...

Я не обижался: в конце концов Юрий и Георгий сходные имена.

Дело не только в том, что в предыдущих изданиях были какие-то неумеренные редакторские правки или цензурные вмешательства, от которых сейчас роман освобожден. Просто писатель с тех пор сам стал мудрее и мастеровитее на целую жизнь. На то крушение, которое пережили мы все, на горе, которое тоже, как правило, никого не обносит горькой чашей своей, и на мужество жить, которого, увы, хватает не всем. Я, естественно, читал и первую версию, и новую. Роман стал если не еще драматичнее, то – драматургичнее. Компактнее. В нём больше действия, диалогов, меньше описательности. Как видите, мэтр не игнорирует и нас, читателей, и даже некоторые веяния дня.

– Описательность – не самое худшее качество литературы, – возражал я ему иногда, ревниво следя за его пером, как за алмазным саморезом.

И тогда он лукаво вскидывал на меня свои относительно азиатские:

– Но мы же, Георгий...

Пракситель и гранит, которому хочется стать мрамором...

Нурпеисов всегда стоял за самобытность казахской литературы, за национальное самосознание в целом. Он очень тяжело пережил трагические события декабря 1986 года в Алма-Ате, но еще тяжелее – развал Союза. Когда это случилось, он вынес на улицу все свои награды: мол, раз нет страны, которая меня награждала... В том числе и орден Красной Звезды, полученный им на войне, куда он ушел в восемнадцать лет.

– Я и крови-то не успел пролить. Ни своей, ни чужой, – говорит он сейчас.

Но сейчас он об этом поступке жалеет: жизнь учит нас в любом возрасте. Так что насчет орденских планок это почти что в прямом смысле: нынче он без них. Как говорится, в чем мать родила.

В дни Беловежской Пуши ему звонили, поздравляли.

– Чему радуется, глупцы? – горько отвечал народу народный писатель.

Встречались мы с ним прошлым летом в Доме отдыха – вообще-то, то, чем занимался он, прикованный к рабочему столу, как к галере, трудно назвать отдыхом – под Актюбинском, по-новому – Актобе. Ночью вышли на берег рукотворного озера, сидели в крошечной южной темноте. На другом берегу озера, в голой степи, метался язычок костра. Мы молчали – с Нурпеисовым, чего не скажешь о некоторых других писателях, говорунах, хорошо не только беседовать, но и молчать – но с той стороны вдруг послышался счастливый девичий смех.

Абдижамил встрепенулся.

– Как я ему завидую! – сказал, наставив ухо и даже ладонью его нарастив, в сторону чьего-то счастья.

Я не стал спрашивать, кому. И так ясно. Молодому охотнику, настигшему не очень пугливую лань.

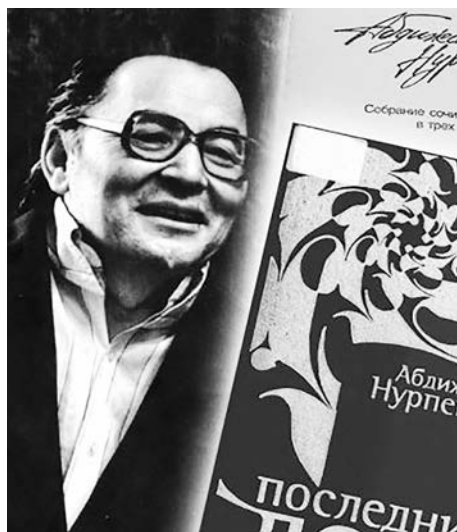
А ведь из номера вышел, черт подери, даже без слухового аппарата: забыл!

Таковы они, мастера, делавшие некогда славу советской многонациональной литературы – слышат то, что хотят слышать. А это – тоже прерогатива мудрости.

Как говорил Александр Солженицын: не первая зима на волка.

И, надеюсь, не последняя.

А шолоховская «Поднятая целина» первоначально так ведь и называлась: «Кровью и потом».



Абди-Жамил НУРПЕИС

И БЫЛ ДЕНЬ... И БЫЛА НОЧЬ...

Роман в двух книгах

Книга первая

И БЫЛ ДЕНЬ...

Я не чинил людям зла... Я не убивал...
Я не преграждал путь бегущей воде...

*«Книга мертвых». Оправдательная речь
умершего в посмертии перед Богом
(из древнего египетского папируса)*

Часть первая

Высокий темноликий человек, сутулясь, оглядывался на свои следы; он смотрел долго и замороженно, силясь что-то понять и еще не сознавая, что это вдруг привлекло его внимание; просто оглянулся назад, туда, где в зимней мгле темнел рыбачий аул; и взгляд его, скользя ненароком, задержался на этих следах по ранней пухлой пороше; неровные, тяжкие следы усталого человека... Он сам не знал почему, но вид их вызывал в нем глухую тоску; было в них что-то несуразное, не в ладу со всем окружающим, – что они напоминали, почему тревожили? Пос-той... Пстой, дружок. Да не саму ли жизнь твою? Постарайся, вспомни, не эта ли несуразность взбесила твою прелюбезную тещу, ту самую старую хрычовку; и не она ли в эти годы поражала своей изобретательной способностью придумывать для тебя издевку одну хлеще другой, окрестив тебя то «дипломированным рыбаком», то, ехидно посмеиваясь, пророчествовала: «придет время, и наш милый зятек будет плестись в хвосте всех людей и, как кара нар¹, упрямо тащить на себе проклятую сеть по луже, оставшейся на донышке от прежнего Аральского моря»

А ты небось в своих тяжко влачащихся следах на снегу, как в старых записях давно забытых страниц, ищешь себя, свою суть и сущность; разве не нашими предками было сказано: «Не сожалею о прошлом, уже минувшем»? Если так, то почему томишься, утопая в своей душевной смуте, ищешь в канувшем в небытие какой-то прок, здравый смысл?

Ну, сознайся, хотя бы после худо-бедно прожитых с Бакизат стольких лет, был ли вообще смысл создавать семью, зная, что с самого начала между вами не было ни согласия, ни душевного понимания?..

Какой бы тещей ни была, кто знает, в чем-то она и права. Хотя бы в том, что все тринадцать лет угнетало Бакизат не что иное, как извечная твоя инертность и покорность перед тем, что ниспослет тебе судьба... И вот чем всё кончилось: неприкаянный, томишься на пустынной льдине судьбы... кажется, отец, или кто

¹ Кара нар – черный верблюд дромадер (здесь и далее перевод с казахского).

еще, говаривал: «Жизнь на исходе лет – что ветошь драная»; должно быть, в минуту отчаяния молвил кто-то эти слова, исполненные безысходной печали; может, ты никогда не произносил их вслух, однако в душе, будь она неладна, давно предчувствовал, пусть смутно, но знал, зна-а-ал же, что не чем-то иным рано или поздно вот так и завершится ваша совместная жизнь; знал, предчувствовал; однако в те благие дни мог ли пустить в душу негожие мысли!

А ну-ка, постарайся, вспомни, дружок, с чего, собственно говоря, и как началась в то, теперь далекое, время злополучная ваша совместная жизнь? Да, с чего-о?.. И ка-ак? Вас было в то время трое. Азим. Бакизат. И ты.

Выходцы из аула рыбаков, затерявшегося где-то далеко в степи в сторону Каспийского моря; решили, что поедете в Алма-Ату все вместе, поступать в институт; родители готовили вас в дорогу; ты как сейчас помнишь: почему-то мать Бакизат этой поездке дочери придавала большое значение; советовалась с мужем раз десять; с дочерью тоже; но, вопреки возражению дочери, в решительный момент она поступила по своему разумению и всё лучшее, дорогие вещи, какие у нее были, запихала в два больших чемодана. И эта хрычовка и тогда к тебе отнеслась с нескрываемым пренебрежением, находя тебя каким-то недоделанным, мямлей. Зато со всех ног прибежала к дому старика Сулеймена и, завлекая в сторонку его сына, с каким с жаром говорила ему о своей дочери, что она любимица родителей, что она еще ребенок, кроме ласки и любви бедных родителей ничего не видела в жизни. И вот теперь она едет, едет в далекий край, и вдруг окажется в большом городе, среди чужих, совсем, совсем незнакомых людей, такая доверчивая, изнеженная, такая беззащитная, и кроме тебя, Азимжан, никто не сможет быть ей опорой и защитой.

Ты с трудом сдерживал душивший тебя смех; как не смеяться, когда видишь, как чуть ли не со слезами на глазах передает мать самому волку пока что безвинного и во всех отношениях, черт подери, милого и соблазнительного ягненочка.

Азиму это и нужно было. Не успели выехать в дорогу, твой дружок мигом вскружил ей голову; в поезде, по всему было видно, относился он к ней не иначе как к некоей необходимой в пути своей личной вещи. Тебя он вовсе не замечал; всё уединялся с ней; бывало и так: стал всё чаще уводить её в тамбур.

Приехали в Алма-Ату. Он, хотя остановился и жил в доме двоюродного дяди, на самом деле в основном проводил время в студенческих общежитиях; как расходовали они ночи, было ведомо им самим и Аллаху, а что касается дней, все видели, что они неразлучно вместе; как только заканчивались занятия, взявшись за руки, шли то в кино, то в театр; стоило слышать, что где-то в парке или еще где-нибудь идут танцы, как эта с блестящими черными глазами, тонкая, худенькая девушка тотчас начинала тормозить и торопить Азима и сама, тоже торопясь, шла рядом со стройным красивым парнем; предвкушая радость от предстоящих танцев, уже возбужденная, с ликующей душой, вела она бог весть какие никчемные, пустые разговоры и спешила на танцы; и этот миг студенческой её жизни, проведенной в столице, был ей особенно мил и по душе.

В то время никто в столице не сомневался в том, что они поженятся; да и Азим не скрывал, говорил всем: «Вот увидите, закончим учебу, сразу поженемся. Устроим свадьбу. Пригласим всех аральцев, которые учатся здесь». Прожужжать-то он прожужжал всем уши, но... но в решительный момент почему-то вдруг, так неожиданно, озадачив всех, бросил Бакизат и женился на другой, отец которой якобы занимал важную должность в Большом Доме; если верить молве, в этом неблагоприятном деле будто бы замешан его дядя, великий строитель. И тот же дядя, устроив той новобрачным, тайком, поспешно спровадил их куда-то подальше с глаз.

Всё это случилось в один и тот же день, когда ребята из Аральска, закончив учебу, получили дипломы; на радостях новоиспеченные специалисты всю ночь напролет гуляли, пели, шумели, резвились, тревожа сон горожан; бурная радость минувшего дня ничуть не улеглась и на следующий день; несмотря на то, что не выспались и болела голова, ни свет, ни заря повскакивали с постели и, кое-как сполоснув гудящую голову под холодной струей из-под крана, примчались прямо к тебе в общежитие; не дав опомниться, накинулись на тебя, лежавшего в кровати.

– Ну, давай, вставай! Что ты? Что с тобой? Не знаешь разве, Бакизат была для всех нас недостижимой мечтой. Как она задирала нос, кроме одного Азима никого не подпускала к себе. И эта строптивая задира спустилась с небес, и надо же, жар-птицей сама припорхнула к тебе. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Давай, давай, вставай! И никаких отговорок. И обмой обрушившееся на тебя неожиданное счастье. Мы ничего не знаем, хоть продавай единственную верблюдицу матери-пенсионерки! Это тот случай, когда ты должен разориться!

«В самом деле», – думал ты, соглашаясь во всем с друзьями, что для тебя казавшееся невысказанным, несбыточным, – стало возможным; и ты вывернул карманы; что не доставало, занял у этих же ребят, обещая вернуть с первой же зарплаты, после того как устроишься на работу; и побежали в ларек; побежали в студенческую столовую; накрыли стол в твоей комнате в общежитии; и девушки не заставили ждать, пришли; их было трое; Бакизат явилась бледной и заметно осунувшейся; но, на удивление всем, вопреки ожиданию, движения её были решительными и порывистыми; как только вошла, поздоровалась, пожав всем руки. Потом, посмотрев на стол:

– Вот здорово! Водка. Вино. Колбаса. Сыр. Эй, Жадигер, почему не приглашаешь нас к столу? – сказала.

Надо отдать должное: какого бы ей ни стоило огромного труда, она вела себя достойно. Вроде раньше в рот не брала даже вино, а в тот вечер не отставала от парней, наравне с ними пила водку; отведала всего, что было на столе; и ела; и пила; только что сидевшие молча, будто язык проглотили, парни после двух тостов сразу оживились; и вспомнили про патефон; и эта музыкальная штучка, бог весть с каких времен оказавшись в студенческом общежитии и переходя из рук в руки его обитателей, выглядела сейчас как некий истерзанный мученик; и у этого видавшего виды мученика сохранилась не менее истерзанная и каким-то чудом дожившая до этого дня одна-единственная пластинка, которая скорее напоминала собачью морду, расцарапанную дикой кошкой; на одной стороне записана песня, на другой – кюй; сначала поставили песню; и все, кто были за столом, подхватили было сразу, дружно, но тут, надо же... старье есть старье, пластинка, издав неприятное «хр-др-р», остановилась. Бакизат, не глянув даже, просто, по-свойски, взяв тебя за руки, поднялась; ты растерялся; не успел сказать, что не умеешь танцевать, и, как верблюдов перед мостом, стал было робко упираться, на что она не обратила внимания, как-то сильно, рывком притянула тебя, по такту музыки сделала только первый шаг и тонко вскрикнула: «Ой-й!» И остановилась.

Нахмутив брови, уперлась рукой в твою грудь и резко оттолкнула тебя от себя.

– Девочки, пошли! – сказала подружкам и, не прощаясь, заспешила к двери. Перед тем как выйти, обернулась, кинула взгляд на вас, растерянно застывших у стола, и ушла.

Пропади всё пропадом! В ту ночь ты до утра не сомкнул глаз; был зол не столько на себя, сколько на свои треклятые ноги сорок пятого размера; была бы твоя воля, ты не задумываясь отрезал бы их и выкинул; какая уважающая себя

девушка согласится выйти замуж за мужчину с такой дурацкой, несуразной ногой? И ты был уверен, что она упорхнула, улетела насовсем.

Еще при жизни отца осталась у тебя с малых лет привычка вставать рано; и в это утро, ни свет ни заря, поднял голову, провел руками по густым жестким волосам; потом сел и обвел комнату тяжелым, угрюмым взглядом из-под нависших бровей; и невесело усмехнулся, увидев какой уже день тщательно заправленную кровать своего соседа по комнате. «В самом деле, – думал ты, – что ему делать в общежитии, когда девушка, на которой он собирается жениться, ждет его где-то там»? Какое-то время сидел, понуро опустив голову и свесив с кровати ноги; кто-то открыл дверь и вошел; ты даже не взглянул, подумав, что это пришел тот счастливчик, только что покинувший горячие объятия своей девушки; но нет. Кто-то другой, живо стуча каблучками по дощатому полу, идет прямо к тебе; поднял голову; заморгал раз, другой и снова глянул. Да, она! Сам не заметил, как вскочил; она увидела, как ты заволновался, засуетился и в растерянности не знаешь, то ли прибрать постель, то ли одеваться.

– Брось! Потом приберешься, – сказала она. И сразу приступила к делу. – Мама не стала слушать меня, едет к нам. Ты лучше не попадайся ей на глаза. Возвращайся домой. Аул... Слышишь, твой аул и без тебя может обойтись. Мы должны жить в городе, в Аральске. Ты же знаешь слабости моей мамы. Если хочешь угодить ей... Пстой! Ты, случаем, не член партии?

– Нет, – покачал ты головой.

– Ну, тогда в райкоме тебе делать нечего. Если получится, пожалуйста, устройся на работу в райисполкоме, – сказала она и, не задерживаясь, ушла. Уходя, еще что-то вымолвила, но ты толком не расслышал, понял только, будто бы она задерживается из-за одежды, которую заказала в ателье, и придет попозже...

Провожала тебя Бакизат с подругами; ты не сразу узнал её; была в ней какая-то потерянность; куда девалось всегда оживленное, освещенное улыбкой, живое, говорящее лицо; вокзал был, как всегда перед отправлением поезда, многолюдным и шумным; уже два раза прозвенел медный колокол; перед третьим, последним звонком отъезжающие и провожающие засуетились, заволновались; и вот тут девушки вдруг расшалились: «Мы прикроем глаза. Поцелуйтесь!..» – пристали к жениху с невестой. Ты, робея, смущенно поглядывал на Бакизат; а она с едва уловимой досадой подмигнула тебе, дескать, не обращай внимания, мало ли что взбредет в голову подружкам; но проказницы не отставали и, похикивая, всё подталкивали вас друг к другу; Бакизат, чтобы отвязаться от наседавших подруг, поднесла к своим алевшим губам кончики пальцев, изобразила звучный воздушный поцелуй; твое пылающее от смущения лицо, наверное, только подзадоривало девушек; не в силах смотреть на бедовых озорниц, ты всё отводил от них глаза; как всегда в минуты полной беспомощности, чувствуя себя припертым к стенке, вспомнил Бога и молил Его только о том, чтобы поскорее зазвучал третий сигнал.

Поезд тихо тронулся; ты не спешил; как обычно, надеялся на свои длинные мосластые ноги; и когда поезд ускорился, ты в несколько прыжков настиг свой гурьевский вагон, вскочил на подножку; и пока пассажирский состав медленно утягивался за поворот, ты, свесившись из тамбура, во все глаза смотрел туда, на перрон, где оставалась Бакизат в окружении подруг; она помахала рукой и вдруг с детским озорством, обычным для нее в прежние счастливые её годы, с этакой невинной уловкой соорудила плаксивую гримасу; вздернула на сторону подбородок и смахнула пальчиком воображаемую слезу; девушки умирали со смеху.

Поезд между тем набирал скорость; мимо иных станций проносился вихрем; мелькали разъезды, саманные домишки с огородами... чья-то жизнь... безвест-

ные судьбы... гурьевский прицепной вагон с грохотом мотало из стороны в сторону, того и гляди снесет на полном ходу с рельсов.

Давно перевалило за полночь; близился рассвет; в вагоне было душно; сон всё не шел на глаза; храпели пассажиры; и как только летний рассвет забрезжил, выбелив слабым светом окна, люди в вагоне зашевелились; одни зевали; другие, оторвав от подушек растрепанные головы, озирались по сторонам; кое-кто курил; ты так и не сомкнул глаз. «О Создатель, – задрожали губы. – Если хочешь воздать рабу Своему, милости Твоей, видимо, не бывает предела!.. Апырай, надо же, Бакизат... Разве она замечала тебя, когда рядом был Азим? Правда, иногда они брали тебя с собой, когда шли гулять; Бакизат было досадно, что такой, казалось бы, здоровый на вид парень ходит бобылем, когда в городе столько девушек; стоило им выйти в город, как, завидев хорошенькую девушку, подмигивая в её сторону, тянулась она то к одному, то к другому твоему уху и тихо, шепотом спрашивала: “Ну как? Нравится тебе?” Вскоре ты перестал ходить с ними; оставался в общежитии, готовился к занятиям. “Бог ты мой, – думал ты. – Что мне до девушек? Какое мне дело до их танцев? К чему мне выкаблучиваться в толпе этих плясунов, топоча, колотя по доскам, поднимая пыль и без того изношенными парусиновыми ботинками? После пережитого позора в общежитии не доставало, чтобы я обидел еще какую-то щепетильную особу. Нет-нет, ни за что!.. Лучше выучить лишнюю страницу учебника. И в самом деле! Что еще нужно мне, кроме как, получив специальность, вернуться в свой аул, обрадовав бедную мать?”

Апырай, Бакизат!.. По сути говоря, она ведь умница? Что бы ни возомнила о себе, а всё-таки, хочешь не хочешь, женская сущность берет свое; к чему требовать от человека, который, как бы ни лез из кожи вон, всё равно не станет Азимом? К чему обучаться какой-то чертовщине, к чему душа не лежит? Какой прок от этого? Разве не достаточно жить как все, не хуже и не лучше других, добывая на жизнь своим честным трудом, в поте лица? Почему не понять таких простых вещей?»

От самой Алма-Аты ты лежал всё так же на верхней полке последнего вагона, несущегося, качаясь, с грохотом и скрежетом; ты живо вспомнил Бакизат на вокзале, убитую горем; ты, конечно, знал причину: разве легко было знающей себе цену, горделивой девушке, привыкшей всю жизнь смотреть на всех свысока, пережить такой позор и унижение? Говорят, когда она узнала о предательстве Азима, то будто бы упала в обморок, рухнув ничком на постель; а когда поднялась на следующий день, – будто бы подушка была мокрая от её слез.

– Эй, парень! Подъезжаем к Аральску...

Ты вскочил, быстро собрался и едва успел спрыгнуть с поезда, как тот тронулся и стал отходить; ты сразу почувствовал, как жарко на твоей милой родине, где теперь до самой осени будет нещадно палить солнце с раскаленного аральского неба; неоднократно налетит со степи знойный, обжигающий суховей, испепеляя всё вокруг; особенно невыносимой становится летняя жара в полдень, когда, кажется, сама тень истлевет, скорчившись, будто стараясь упрятаться под стены приземистых домов и уйти под чахлые пыльные деревца на узких и кривых улочках маленького городка, резко пахнущих солончаковой пылью, перекаленным саманом.

Целую неделю ты обивал пороги учреждений в поисках работы; без труда отыскал те самые главные два здания, где находились организации, что очень по нраву старой хрычовке; они располагались на центральной площади города по обе её стороны; оба здания в два этажа; одно сложено из жженого кирпича, другое – из камышитового каркаса; каждое утро к этим двум зданиям подъез-

жали две машины; одна из них – крытая брезентовым тентом, по всему видно, что не требовала для себя особого ухода, другая – новая белая «Волга».

Каждое утро в девять часов из машины с тентом выходил тучный, дородный человек. В тот день, держа пухлый желтый портфель в руках, как только его ноги коснулись земли, он остановился и, задрав голову, посмотрел на небо. Запущенная только вчера с Байконура ракета словно перевернула небо и землю. После пыльных смерчей, вал за валом прокатившихся по степи, начался ураганный ветер, который не замедлил уже на следующий день перейти в свирепую воющую бурю. Громадные, черные, как бы вспененные облака тянулись по небу, выстраиваясь в мрачное, уходящее вдаль кочевье. Председатель, с неодобрением, безнадежно и тоскливо глядя на небо, покачал головой:

– Считай, эта буря затянется на всю неделю. Еще одно бедствие на голову простого народа. Теперь трудно будет, особенно рыбакам. Не смогут выйти в море... То ли шайтан, джинн, то ли черт знает что это такое? – в душевной муке, махнув рукой, пошел в здание.

Белая новая «Волга» тоже подкатила к двухэтажному кирпичному зданию на другой стороне площади; не успела остановиться, как мигом выбежал из здания молодой юркий сотрудник, поспешно открыл дверь, и из машины медленно вышел мужчина лет сорока, с ягн्याчим брюшком; не обратил внимания ни на кого, не глянул ни на что; медленно, степенно двигаясь, вошел в здание; «Видать, это и есть райком, о котором говорила Бакизат», – подумал ты. Также вспомнились тебе слова Бакизат: «Если не вступил в партию, в райкоме тебе делать нечего», и ты сразу почувствовал облегчение.

Будь что будет, – решил ты во всем следовать советам Бакизат и очертя голову бросился в райисполком; хозяин этого учреждения, который разъезжал в машине с натянутым тентом, в просторной, мешковато сидящей одежде, почему-то с первого взгляда показался тебе человеком, смахивающим на неотесанных аульных казахов, так знакомых тебе с детства. Однако, на твою беду, этот человек оказался непоседливым – сколько бы ты ни приходил, никогда не заставлял его на своем месте: то он у рыбаков устья Сыр-Дарьи, то даже на том берегу Арала; потеряв надежду попасть к нему на прием, ты начал обходить другие учреждения города; однако, куда бы ты ни приходил, к своему удивлению, нигде не находил ни одного человека, который бы встретил тебя с распростертыми объятиями – «молодой специалист, так заходи, заходи!» Напротив, едва переступал порог какого-нибудь кабинета, как его хозяин, словно бодливый козел, вскидывал на тебя хмурый, неприязненный взгляд, а стоило лишь заикнуться о работе, тотчас становился безразличным и уже более и ухом не вел, закапывался с головой в бумаги; ты не знал, куда деваться – продолжать стоять, утирая пот со лба, или вывалиться поскорее в ту дверь, через которую только что робко вошел; бесплодное хождение становилось невыносимым и унижительным.

Из Алма-Аты приехал еще один выпускник института; по его рассказам, знаменитый строитель даже на порог дома не пустил старую хрычовку. А что касается Азима, он с молодой женой спрятался где-то за городом; вот еще что сказал парень: Азим и Бакизат встретились; вместо того, чтобы попросить прощения у девушки, Азим якобы сказал: «Обстоятельства так сложились, дорогая». Затем недолго думая взвалил всю ответственность на нее: «Если действительно ты любишь меня, – сказал он, – ты должна думать не только о себе, но и о моем будущем. Ты не останешься одна. Вижу, ты нравишься парням. А-а... что касается Жадигера, он давно влюблен в тебя. Насколько я понимаю, он готов душу отдать за тебя. Парень он видный. Косая сажень в плечах. Здоровяк

что надо. Что хорошо в нем, он добрый, покладистый. И будет послушным мужем». – «Я беременная от тебя». – «Ах, да? Ты что, обо мне что-то говорила? Ничего. Жадигер-р. Я его знаю, он ни в чем тебе не перечит. Вот увидишь, такие люди, как он, любят маленьких де-де-де-ет...» Азим даже не успел заметить, как только что заливавшаяся горькими слезами девушка в одно мгновение оборвала слезы; от неожиданного удара крепко стиснутого кулачка из глаз у него брызнули искры, а когда, моргнув ресницами, он снова открыл глаза, девушка уже оказалась у самой двери.

Когда услышал обо всём этом, ты был так доволен, даже в восторге, что не заметил, как вырвалось у тебя: «Ой, душа моя, а что ей было делать?!»

Апырай, чего только не знали наши предки! Пусть земля будет им пухом. Они ведь говорили, что «пестрота скотины на виду, снаружи, а пестрота человека сокрыта внутри». Был бы кто-то иной – другое дело, но Азима ты знал. Должен был знать. Вы же родились в одном ауле, даже в один день. Росли вместе; учились вместе в одной школе; однако, надо сказать, он был пошустрее и способней тебя; всё схватывал на лету; был отличником учебы; и в общественной работе в стенах школы тоже был активным; его ставили в пример; и он даже первым вступил в «общество безбожников», организованное старшим пионервожатым; на нём была белая рубашка; на шее – красный галстук; помнится, как, почти птицей выпорхнув, оказался на сцене колхозного клуба стройный подросток с горящими глазами; затем звонко отчеканил заранее выученный стишок:

*«Наш аульный мулла,
На голове вот тако-о-й тюрбан,
Ни козленка, ни ягненка не возьмет,
А на жаназе² бычка с удовольствием берет».*

– Тьфа! Тьфа! Вот увидите, этот щенок Сулеймена подрастет, проторит себе дорогу туда, на самый верх, – восхищенный Сары Шая, покачав головой, зацокал языком.

Да, дядя твой будто в воду глядел. А ты вот... со своим дипломом всё еще слонялся по городу, обивая пороги учреждений, и ничего у тебя не выходило. Разве что до дыр протер парусиновые ботинки на колдобинах кривых узких улиц Аральска.

И вот однажды... Хоть смейся, хоть плачь! В тот день Бакизат должна была приехать вечерним поездом; ты, как обычно, с утра уже бегал в поисках работы и оказался в каком-то задрипанном учреждении, расположенном на окраине маленького городка; это был твой последний шанс; кое-как преодолев робость, приоткрыл дверь крошечного кабинета, где сидел толстяк с расплывшимся мясистым лицом и обвислым двойным подбородком; тебя охватил страх; едва переступив порог, ты было остановился, но нет... вопреки твоему ожиданию, этот толстяк не вскинул на тебя, как другие, недружелюбно-настороженного взгляда; хотя поначалу тоже внимательно уставился в нежданного посетителя маленькими, с пуговку, глазками, но они, к твоей радости, тут же потеплели; с тех пор прошло тринадцать лет, но ты и по сей день не знаешь, то ли он обрадовался, что хоть кто-то пришел в ту самую пору, когда он помирал от жары и не знал, куда девать свое непомерно большое тело, едва помещавшееся в этот залитый южным солнцем душный кабинетик; или, как знать, может быть, ему показалось забавным, что тот, кого он принял за взрослого человека, оказался

² Жаназа – панихида.

нескладным застенчивым юнцом; как бы там ни было, в буравчатых зрачках поросячьих глаз вдруг заплескала веселая искорка.

– Входи! Входи! – сказал он, удивленный тем, что застенчивый юноша, застыв у порога, не смеет подойти поближе и всё мнет, тискает обеими руками полинялую старую кепку. – Ну, смелей! Проходи!

Добродушный толстяк, обмахивая себя газетой, просматривал твой диплом и, кажется, с явным одобрением бормотал невнятно: «Да! Да!.. Гм-гм!..» – потом вдруг поднял голову и спросил:

– Значит, тебя зовут Жадигер?

– Да, да, Жадигер, – подтвердил ты и радостно подумал: «Может, повезет!» Сердце забилось сильнее.

– А знаешь... кажется, одного батыра из народного эпоса тоже звали Жадигером. А ты... ты, – то ли удивляясь, то ли радуясь, толстяк оглядел тебя с головы до ног и хохотнул, – смотри-ка, да ты тоже малость на батыра смахиваешь. И ростом вышел, голенастый такой, и этот... отросток твой... тоже небось немалого размера, а? Ха-ха-ха!

Веселый толстяк откинулся на спинку охнувшего под ним стула, откинул голову и хрипло, с жирным клекотом захохотал; твой небольшой жизненный опыт подсказывал, что бывают иные добродушные дяди, которые перед тем как облагодетельствовать кого-нибудь, испытывают потребность сначала малость покуражиться, как бы в кошки-мышки поиграть, наслаждаясь своей властью.

– Слушай... выходит, ты сын передового рыбака Амиржана?

– Да, агай.

– Да, говоришь... Значит, сын того Амиржана, что жил на этом берегу, а не на том. Так?

– Мы с этого берега...

– Апырай, а?! Если ты сын почтенного Амиржана, который жил на этом берегу, а не на том, – стало быть, ты, черт долговязый, из рода Жакаим?

– Да, агай. Мы из рода Жакаим...

– Ну и хорошо, хорошо... Только скажи-ка мне теперь, вы Жакаимы верховий или низовий?

Ты замялся, не зная, что означают эти загадочные «верховья» и «низовья».

– Ну, говори, ты из каких жакаимцев – морских или сухопутных?

– Наверное, морской...

– О Аллах, выходит, мы с тобой одного рода. И я, кажется... помню тебя еще сопливым мальцом... о-ха-ха-ха!..

Ты не обиделся, наоборот, тебе было приятно, что веселый толстяк оказался твоим сородичем; и не просто сородичем, а близким – из рода морских Жакаимов.

– Значит, выходит...

Ты ничуть не сомневался, что сейчас услышишь из уст этого добродушного веселого человека, который одного с тобой рода-племени, долгожданные слова о назначении на работу; о, тогда... к приезду Бакизат кончатся твои мытарства; конечно, она обрадуется; всё будет улажено, останется лишь отпраздновать свадьбу! Нет, не зря, видно, сегодня с утра дергался у меня правый глаз: это ведь, говорят, к добру, к везению; «Может, еще и к себе на работу возьмет?» – мелькнула робкая мыслишка; и в надежде услышать сейчас обо всем из уст сородича, ты несмело воззрился на него; поймав твой взгляд, дородный морской жакаим качнулся на скрипучем стуле и почему-то снова хохотнул.

– Слушай, если ты из морских Жакаимов, то должен знать припевку о нашем роде... О морских Жакаимах. Забавная такая:

О, Жакаим, Жакаим!

Велика ли слава:

Воды соленой нахлестался –

Аж трещат суставы...

– Ну и как? Правду говорят?

– Что вы, ага... Это аульные остряки придумали, друг над другом подшучивать...

– Шутка, думаешь? Нет, суровая жизненная правда. Если хочешь знать, дорогой, у человека, постоянно пьющего соленую воду, откладывается соль в суставах. В медицине это так и называется – отложение солей. И потому у него суставы трещат. Гены, понимаешь! А ну, давай-ка, пройди взад-вперед. И если ты истинный морской жакаим, то, Аллах свидетель, и у тебя при ходьбе должно стрелять в пятках!..

И тут веселый толстяк всей своей кабаньей зашеиной опять отвалился на спинку стула и зашелся неудержимым стонущим хохотом; хохотал так, что забулькало частыми толчками его упиравшееся в край стола брюхо; исчезли, запропали вовсе, превратившись в две щелочки, его поросычьи глазки. Только мокрый рот по-рыбьи хватал воздух... ты схватил со стола свой диплом и метнулся вон из кабинета; и, уже больше никуда не заглядывая, поспешил на станцию встречать Бакизат.

С тех пор прошло тринадцать лет. Толстого Жакаима ты больше не встречал; впрочем, нет... однажды, спустя многие годы, увидел его в столице, в президиуме совещания. Он тебя не заметил; и ты тоже не подошел к нему; тебе и сейчас чудится, что он, как и тогда, при встрече, желая уязвить, обзовет сопливым мальцом... А мать Бакизат, твоя разлюбезная теща, и поныне твердит, не скрывая своей неприязни: «Запомни, зятек, это мы тебя в какие-никакие люди вывели!..»

Да, влиятельные родичи жены имели широкие связи и в городе, и в аулах; и, надо отдать им должное, в первое время они с ходу подхватили тебя, словно бурное течение лодчонку. Но ты, к несчастью, не умел идти на поводу; когда, заручившись поддержкой самого Ягнячьего Брюшка, первого секретаря райкома партии, тебя хотели перевести в город на хорошую должность, ты, лишенный честолюбия, заартачился, словно верблюд у брода. Вот теперь, хоть имей десять дипломов, на твоём лбу как клеймо написано быть первым дипломированным рыбаком со дня сотворения синего Арала. Впрочем, теща твоя и поныне, ехидно похикивая, не перестает называть тебя «наш дипломированный рыбак».

Что ж, пусть смеется... Теперь, небось, вволю потешит душу!

Продолжение в № 11, 2024.

